



*Туфан
Миннуллин*

рассказы

Строки памяти

Туфан Миннуллин (1935) – Народный писатель Татарстана, президент Татарского ПЕН-центра, автор пяти десятков пьес, книг прозы и публицистики, лауреат Государственной премии РСФСР им. К. Станиславского и Государственной премии РТ им. Г. Тукая, народный депутат Республики Татарстан

Отец

Я рос в очень интересной семье. Муж с женой – полная противоположность друг другу, что по нраву-характеру, что по образованию-знаниям – были моими отцом-матерью. Я не совсем верю в причину некоторых разводов, мол, не сошлись характерами. Если так, то мои родители и часу не прожили бы вместе. А они бок о бок провели сорок пять лет и...

Нет, расскажу-ка о них о каждом по отдельности.

Отец родился в Казани. Дед в своё время покинул наши родные края, устроился работать на пороховой завод, разместившись в Ягодной слободе. По документам отец 1903 года рождения. Но, беря во внимание слова двоюродной ныне покойной сестры отца, Зулейхи-апы, его рождение скорей всего произошло в 1901 году. Она говорила: в «митрике» неправильно записано.

«Я ходил в школу учителя Гафура», – рассказывал отец. И гордился, что учитель Гафур – это и есть Гафур Кулахметов. С особым чувством вспоминал, как в школу к ним приходил Габдулла Тукай и одному ученику, хорошо учившемуся, подарил ичиги. Он так рассказывал, будто те самые сафьяновые сапоги он сам получил. Не умел отец врать. А то в своём рассказе мог бы подарок от Габдуллы Тукая и себе приписать. Нас же там не было, и мы ничего не могли видеть.

Сколько он учился в этой школе, не знаю. Не больше трёх-четырёх лет, наверное. Но этих знаний отцу хватило на всю жизнь. И по-русски хорошо знал. И по-арабски для него читать-писать, что воды испить. Только вот не знаю,

как он ему научился. Не помню, чтобы рассказывал нам.

Если в деревне кому-то требовалось написать по-русски какое-нибудь заявление-прошение, то всё это делал отец. Даже когда в деревне появились выпускники десятилеток, деревенский люд, не доверяя им, по-прежнему со своими бумажками шёл к отцу. «У Габдуллы рука лёгкая, – говорили сельчане, – он пишет начальству просто и понятно».

Помню, как он писал ходатайство о назначении пенсии дедушке Зигангиру, который пятьдесят лет пас общественное стадо. Помню, как Зигангир-бабай сидел у нас дома за столом, благодарил отца за первые полученные пенсионные деньги и плакал.

К отцу приходили с просьбой сделать перевод из религиозных книг, написанных на арабском языке. Просили почитать. Отец их не читал. Не было у него с религией близких взаимоотношений. Как атеисты, он не развенчивал Аллаха, не хулил его, но и не заискивал в трудные моменты жизни, не просил ни о чём коленопреклонённо.

Когда мы спрашивали его: есть ли Аллах на самом деле? – отец отшучивался: подрастёте, мол, сами поймёте. А на вопрос: есть ли нечистая сила, в ответ лишь кивал на козу, бродящую по двору, не любил он почему-то коз.

Не задерживался отец в местах, где читались молитвы. Мама говорила ему, уже состарившемуся: иди, поякшайся с аксакалами. И вот он разок сходил, когда ему перевалило за семьдесят. Пошёл к дому Гарифуллы-абый, где собирались старики и творили намаз. Вернулся посмеиваясь: как хотят, так и вер-

тят арабскими словами. Вместо того, чтобы произнести фразу за здравие, читают за упокой. Если б пророк Мухаммед случайно услышал их, моментально отправил бы в ад.

Из старинных книг он читал нам вслух о Юсуфе и Зулейхе, а также о Гали-батыре, о Салсалле... Но всё это он преподносил нам как сказки.

В семнадцатом году, оставшись сиротой, отец решил мир повидать и пошёл странствовать. И посуду мыл на пароходе, и плечом к плечу со сплавщиками леса поработал... Одним словом, его биография в те годы была связана с Волгой. Когда бывал в приподнятом настроении, называл себя шутливо бурлаком. И мама, когда сердилась, восклицала: «Всю жизнь провела с этим бурлаком!» В ответ его глаза наливались ещё большей синевой, лучистой, светящейся улыбкой, и он произносил, дразня маму: «Я и сейчас Волгу могу переплыть». Видимо, Волга была его какой-то недопетой песней, её он часто вспоминал. Даже чулан нашего первого дома был сколочен из деревянных рёбер старой баржи.

Да, в характере отца было зимогорство, некий дух бродяжничества. Его не прельщало имущество, богатство, был он равнодушен к скоту. Лишь понукаемый матерью согласился вместо старого дома построить новый.

Отец появился в нашей деревне в 24–25 годах. То ли увязался за кем-то, то ли потянуло на родину своего отца, нашего деда, бывшего из этих краёв. В деревне, прознав, что он «парень грамотный», определили его в сельсовет секретарём. Каким он был секретарём, история умалчивает, но все новости и всё новое исходило от него. Односельчане велосипед впервые увидели у него. Когда появился детекторный радиоприёмник, весь любознательный деревенский люд шёл к нему и, прижимая к ушам своим наушники, слушал, что происходит на свете.

Поняв, что мой отец нужный для села парень, его женили. И дом для него построили. Но отец ушёл оттуда, прожив совсем немного.

Тогдашняя жизнь отца мне почти не известна. Сам он о тех временах не рассказывал, и мать помалкивала. Что ей рассказывать своим детям о первой жене их отца?! Кое-что, конечно, мне было известно от взрослых сельчан. Они вспоминали, что отец ушёл из того дома и спички с собою не прихватив. По-доброму вспоминали, тепло. А причиной ухода было якобы лишь одно слово, брошенное той женщиной в адрес отца, – «нищий». Зачем она это сказала, ведь всё-таки он работал секретарём сельсовета, и должность эта была в то время весомой?

Года два назад я встретил в соседней деревне первую жену отца. (Люди подсказали.) Несмотря на то, что время взяло своё, она не потеряла стройности и красоты. Можно лишь представить себе, какой красавицей была она в молодости. Вот брось-ка такую всего лишь из-за одного слова.

Отец был спокойным человеком, но упрямым, принципиальным. Ничего не делал против своей совести. Во всяком случае ни я, ни односельчане припомнить такого не можем. Тихий, спокойный, но, как говорят, в тихом омуте черти водятся. Порой всё-таки он выходил из себя. По-моему, всего пару раз в жизни. Но каждый из них достоин отдельного описания.

В 37-м году по навету односельчанки шестнадцать человек вместе с моим отцом, который «лил воду на кулацкую мельницу», были арестованы. После двухдневного разбирательства, не выявив состава преступления, арестованных отпустили. А пока они находились в заключении, та женщина бегала по деревне и хвасталась: «Показала я им, где раки зимуют, сгнут они там, в каталажке». Когда отец с односельчанами вернулся, она не на шутку испугалась, прилетела к отцу в управление колхоза (он работал там счетоводом) и принялась заискивать, даже кокетничать, стараясь сгладить ситуацию. Вот тогда-то наш спокойный, уравновешенный отец сорвался. Он начал метать и крушить – стол, стулья, окна... Даже

умудрился дверь с петель одним рывком снять. Сокрушил металлическую решётку, огораживавшую канцелярию. Четверо мужиков, оказавшихся поблизости, не могли унять его. Но женщину ту и мизинцем не тронул.

Вторая вспышка случилась, когда я был уже взрослым, учился в театральном училище в Москве. Как-то зимой отец с матерью сидели у окна и пили чай. Перед нашим домом раскинулся небольшой сад, где росли три яблони. В этот сад по сугробу, который был на одном уровне с забором, залезла соседская коза и стала поедать ветки утопавшей в снегу яблони. «Подика прогони эту нахалку», – сказала мать. Отец несколько раз выходил и прогонял козу. Но коза есть коза – опять и опять возвращалась к яблоньке. Мать принялась ругать отца, мол, даже с козой как следует разобраться не можешь. Отец треснул чашку с чаем о пол и стремглав вылетел из дому. Животное, почувствовав, что на сей раз хозяин не будет милостив, бросилось по улице наутёк. Отец за ней. Пробежал порядочно. Догнал. (В ту пору ему было шестьдесят восемь лет.) Догнал, перехватил поперёк, взвалил на себя, принёс домой, прямо туда, где чай пили, и бросил в ноги матери: «На, что хочешь, то и делай с ней!» Да, не любил отец коз, говаривал: дать козе три класса образования, так она вымотает у своего хозяина всё его терпение.

Отец мой не был физически сильным человеком. Среднего роста, худощавого телосложения... Но любому терпению бывает конец. Перейдёшь какую-то невидимую границу – и любой спокойный, хилый мужичишко может натворить чёрт знает что.

Да, спокойным, даже, можно сказать, кротким был мой отец. Он и мухи не мог обидеть, не то чтобы на кого-то из нас руку поднять. Вернётся под хмельком, мать начинает на него бурчать, а он затынет песню: «Не ругай меня, Фатыма, что денег мало принёс», и она смягчится: «Жалко слов тратить на этого бурлака!» А мы порой горячимся из-за

ерунды, ругаемся с жёнами по пустякам, похлеще женщин словами трещим. У нас язык с рукой ходят впереди ума. У отца наоборот было. Он сперва думал, взвешивал. И поэтому, наверное, умел сдерживаться.

Сохранилось в памяти одно доверенное событие. Лет пять мне было, что ли. Отец и ещё несколько человек сидят на бревне у забора. Я с мальчишками вожусь у воды. Они постарше меня были и начали подстрекать, что я, мол, ни за что не смогу взять да обмазать лицо отца тиной, что вот тут, у нас под рукой. Я расхрабрился, взял в ладонь тины с грязью, подбежал к отцу и хлоп ему в лицо. Не успел отскочить, как кто-то, сидевший с отцом рядом, поймал меня и хотел, видимо, поддать мне хорошенько, но отец остановил его: не трогай ребёнка. Коль старшие такие бестолковые, что с меньших возьмёшь? Многое с тех времён позабылось, а вот эти слова отца врезались в память. Потом мы с отцом пошли к речке и грязь с его лица вдвоём вместе смыли. Надо почище, чтобы мать не заметила... Когда хоронили отца и положили его в могилу, я вспомнил тот случай и долго не мог остановить слёз.

Если мы творили что-то непотребное, отец пугал нас, что скажет матери. Обычно же в семьях наоборот бывает – отцом пугают. У нас – нет. Отец признавал в матери хозяйку дома, хранительницу очага, он знал, что она умеет вести хозяйство, и доверил его ей, подчиняясь её требованиям и не теряя при этом собственного достоинства. Он поддерживал её и отбивал некоторые наши молодые наскоки.

Отец женился на матери в тридцатом году. Он был старше её на шесть лет. Она полюбила его, иначе не вышла бы за разведённого. Это только теперь мужики могут ходить в джигитах, разведаясь с тремя-четырьмя жёнами. А тогда иначе было. Добавлю ещё то, что моя мать была единственной безмерно любимой дочерью моего дедушки. Притом очень красивой. Весьма практичной, привлекательной девушке зажиточного де-

ревенского человека не мог не понравиться молодой образованный человек с поэтической душой и неординарным взглядом на жизнь. Хоть мать и была человеком, что называется, земным, в каком-то уголке её души всё-таки теплилось стремление к искусству, литературе.

В зрелые годы отец начал писать стихи. Мать стеснялась этого, видимо, считала поэзию чем-то очень высоким и священным. Через некоторое время стихи отца стала печатать районная газета. Чуть не плача, мама принялась уговаривать меня: «Скажи этому ненормальному, пусть не смешит людей. Уж на улице появляться неудобно. Зашла в магазин, а там спрашивают: прочла ли ты, Халиса-апа, что пишет Габдулла-абый? Спрашивают и смеются.

Стихи, написанные отцом, конечно же, были далеки от совершенства. Впрочем, такого уровня стихи нет-нет да и встречаются на страницах больших газет и журналов. После того как он выслушал просьбу матери из моих уст, стихи его в газете появляться перестали. С моим мнением он считался. Я подумал, что он бросил сочинительство, но после его смерти в старых книгах обнаружили тетрадные листочки со стихами. Нет, не бросил бедняга стихи писать. До самой смерти сочинял, тайно от меня, пряча свой поэтический труд от матери.

Если б в своё время отец не свернул со своей дороги, возможно, стал бы человеком, успешно работающим в области литературы и искусства. Я говорю со своей дороги, потому что был он существом далеко не деревенским. Отдав деревне несколько десятилетий, он так и не стал в полном смысле слова деревенским человеком. Деревня осталась для него чужой. Хозяйство он не знал и не понимал. Не то чтобы не хотел понять, просто душа у него была другой. Скажем, что сложного, казалось бы, лошадь запрячь. А вот отец, сколько его ни учили, так и не смог овладеть этим деревенским «искусством». Когда ему предстояло куда-нибудь ехать, лошадь ему запрягала мама, да ещё наставляла, как потом накормить её, как

освободить от поводий... Отец отвечал: ладно, ладно, селся в телегу и уезжал, но по возвращении оказывалось, что лошадь так и осталась не накормленной, не напоенной, и поводья как были завязаны матерью, так и красовались нетронутыми. Но зато оказывалось, что или подбрюшник у лошади развязан, или чека тележного колеса утеряна. Поэтому мой отец, хотя и был счетоводом колхоза, предпочитал ходить пешком. Смех и грех, топает счетовод со своим отчётом в райцентр на своих двоих. Понимающие председатели колхозов возили своих бухгалтеров в райцентр на лошади. Но ведь и не понимающих было немало.

Или вот такой пример. Однажды отец возле наших ворот с прутом в руке гонял корову. Мать сказала мне – выйди-ка посмотри, что отец делает. Я вышел из дому, спрашиваю:

– Отец, что ты делаешь?

– Корову загоняю, – отвечает, – а она не заходит.

– А почему она должна зайти?

– Доить пора, мать велела привести.

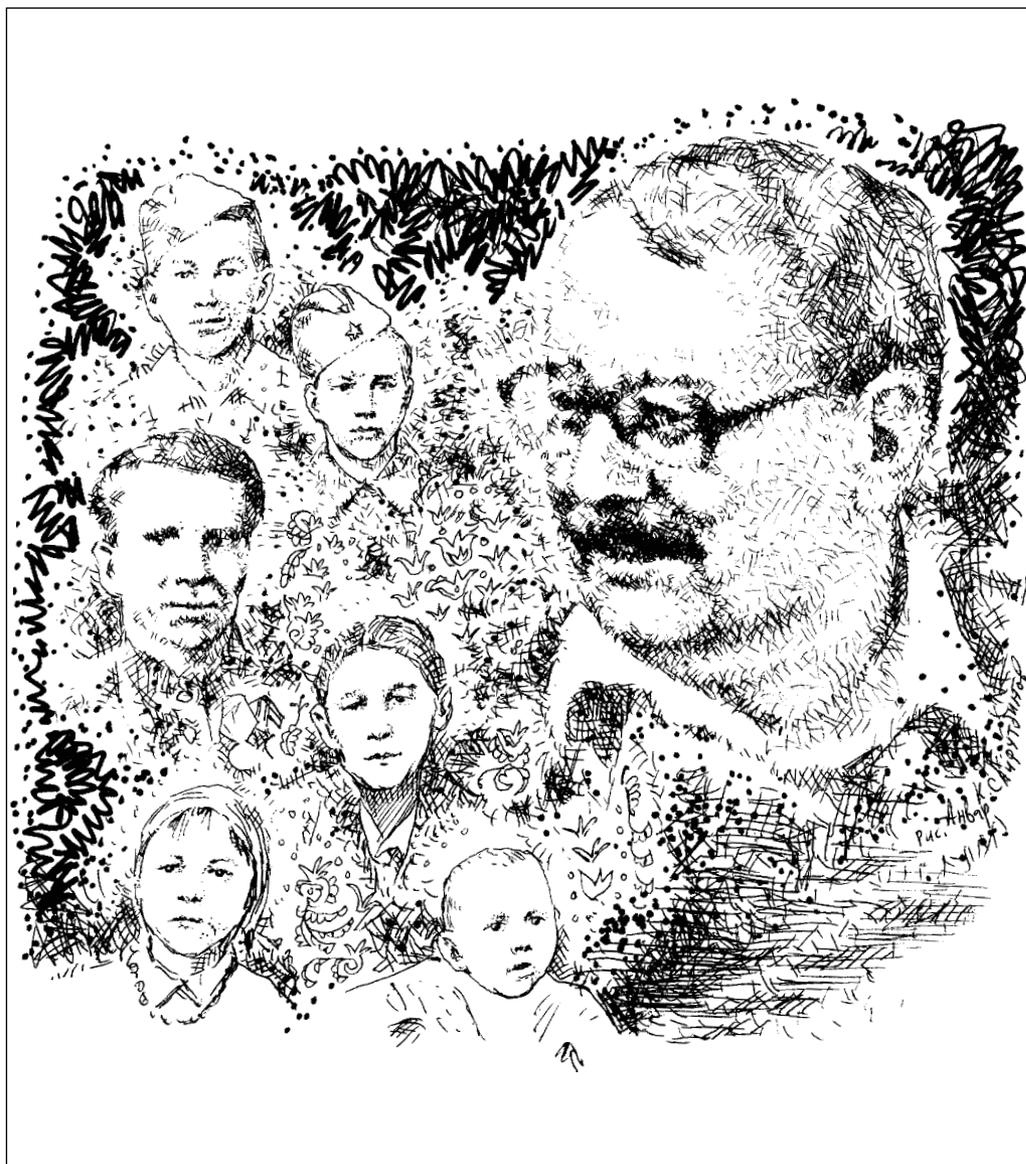
– Так это ж не наша корова, – говорю.

– Как не наша? Вот и белое пятно на животе, как мать говорила...

Мы от души посмеялись. Удивительно же, житель деревни не знает своей коровы! Об овцах, гусях... уж и не говорю. Да, отец мой не был деревенским человеком.

Стихией его были бумага, ручка да счётные костяшки. Со счётами он управлялся, как умелый гармонист с гармонью, – прибавлял, отнимал, умножал, делил, выводил проценты... Отчёты с его помощью наш колхоз сдавал первым, потом отца посылали помочь с отчётами в другие колхозы. Знал я многих бухгалтеров, говоривших: бухгалтерскому делу меня Габдулла-абый научил.

На свете много честных людей. Но если скажу, что до такой степени честных, как мой отец, я не встречал, то против истины не погрешу. Видимо, эта честь, эта честность были подарены ему природой, заложены в нём тогда, когда он был ещё в чреве матери.



Его единственной ошибкой, пожалуй, было то, что он оставил первую жену. Хотя кто знает, как у них там было. Что это за то ли обвинение, то ли оскорбление – «нищий»? Быть может, она толкала отца на поступок, который противоречил его совести? И он не послушался, не переступил свою внутреннюю нравственную черту?

На вопрос: каким должен быть коммунист в идеале? – я отвечаю: как мой

отец. Хотя он не был членом партии. Я спросил его: почему он в партию не вступил? Отец ответил: «Ленина стыжусь. Всё равно я не смогу быть как он». Когда я сам вступал в компартию, он сказал мне: «Смотри, какую ношу взваливаешь на себя, сможешь ли не уронить её?».

Я стараюсь быть похожим на отца. Но чувствую, не всегда получается. Обстоятельства, ухабы жизненного пути... мало ли причин для оправдания!

Больших грехов за собою не знаю, мелкие, на уровне ошибок, – бывали. Отец же – что касается чести и совести, не ошибался вовсе.

На войне отец был связистом. Была у него медаль «За отвагу». Бережно хранил он эту боевую награду. Но за что получил, не рассказывал. Когда я начинал допытываться, отвечал: «Всё равно не поймёшь. Понять это может лишь человек, который сам воевал.». В конце войны его определили заведующим складом. Когда он вернулся с фронта, в солдатском вещмешке его было два куска сахара, два десятка сухарей и шматок шпика.

Помню, соседские мальчишки хвастались вещами, привезёнными отцами. Однажды мать укоризненно высказалась по этому поводу в адрес отца, на что он ответил: «Знаешь, я ведь на войне был, а не на базаре». После этого она таких разговоров больше не заводила.

В сорок шестом году мы голодали. Отец в колхозе бухгалтер, счетовод, а мы голодаем. Мать не знает, что делать.

Как-то она сказала отцу:

– Четыре года я берегла твоих сыновей, а теперь уж сам их смотри.

Добавив:

– Люди даже не верят, когда видят, как я собираю крапиву, говорят: наверное, специально пыль в глаза пускаю, муж-то счетоводом в колхозе, а тут эта крапива...

Отец ответил:

– Нет же в амбаре муки, откуда ей взяться?

Мать напомнила ему об одном человеке, который, несмотря ни на что, жил сытно.

– Где же он её берёт, эту муку? Все же колхозные документы у меня, и по ним ни грамма муки нет.

Этот человек к нам заживал, вразумлял отца, объяснял, что такое жизнь и как надо в ней вертеться.

– Ничего-то ты, Габдул, не понимаешь. Ты думаешь, что я ворую. Нет, ошибаешься. Что такое вор? Это человек, который не работает, а ест. А я днём и ночью бегаю, несмотря на свою хромо-

ту. А если упаду, если все упадём, что колхоз будет делать? Ты хоть и учёный, Габдул, но такой уж недотёпа!

Но эти доводы не могли заставить отца свернуть с пути истинного.

Наконец мать не вытерпела – послала моего старшего брата со мной вместе в поле, где поспевала рожь, чтобы мы, протерев колосья, вышелушив зёрна, принесли их домой. Опыт такого способа выживания у нас был, и мы в тот день от души «поработали». Когда зелёные зёрна ржи жарили на сковороде, вернулся отец.

– Откуда это взяли? – спросил он.

– Не твоё дело, – ответила мать. – Иди продолжай щёлкать своими костяшками.

Отец вышел прочь. Вернулся домой, лишь когда мы закончили кушать жареную рожь.

Помню, как он сказал с обидой в голосе:

– Если они с этих пор начали заниматься воровством, то что будет потом, когда они станут взрослыми людьми?

Однажды к нам домой зашёл уполномоченный из района с председателем колхоза. Председатель вынул из кармана бутылку водки, поставил на стол.

– Ну-ка, сестра, организуй закуску, – сказал он матери.

– У нас ничего нет, – развела она руками, – дети вон голодают.

– Как это голодают?

Отца дома не было. И мать отвела душу, рассказала, как мы живём. Уполномоченный, увидев меня, путающегося между ног, сказал:

– Пойдём-ка, – и вывел меня в чулан. Проверил там по полкам наши «сбережения». Вернувшись, дал прикурить председателю:

– Какой ты председатель, если одного своего счетовода накормить не можешь! Сейчас же, пока я вот здесь, пусть привезут сюда муки. Если нет в амбаре, пускай у тебя возьмут, я видел в твоём чулане два мешка.

Привезли муки. Мы все обрадовались. Лишь отец хмурился. Но возразить не мог, раз уполномоченный ве-

лел. Отец, как и другие колхозники, работал за трудодни. Он хорошо знал, что и сколько кому полагается, и ему было не по себе из-за несправедливого распоряжения уполномоченного.

В сорок восьмом году мальчишки, у которых были отцы, за учёбу в восьмом классе заплатили по сто пятьдесят рублей. На мою учёбу в нашей семье таких денег не было. Чуть было не пришлось оставить школу. Кое-как нашли потом эту сумму денег.

По природе отца трудно было назвать энергичным или напористым человеком. Никогда он за себя не выступал, не выпрашивал ничего для своих нужд. Гордый был. Терпел, если даже было невмоготу. Никогда ни на кого не доносил и даже людям, живущим не совсем честно, ничего не говорил, лишь переставал общаться с такими.

И сочинительство стихов в последние годы его жизни можно было бы, пожалуй, назвать разговором с самим собой. Стихи его сплошь состояли из наставлений: надо жить честно, мирно, красиво и ни в коем случае не за счёт ближнего.

В последние годы он стал очень странным. От дома далеко не отходил. Читал написанные мною вещи, но мнения своего не высказывал. Быть может, они и не нравились ему, а сказать об этом считал неудобным. Но чувство ува-

жения ко мне у него было большое. Даже мать одёргивал, когда она по какому-нибудь поводу горячилась на меня.

Сиюю вот сейчас и думаю: если писать о нём, то как передать его образ? Кем он был в этой жизни? Прихожу к мысли, что он должен был быть большим человеком, личностью с чистым сердцем и светлой головою. Но найти себя, реализовать свои природные задатки не смог. Впрочем, величие человека, его внутренняя сущность не по чинам судятся. Отец и без чинов был личностью. Но всё-таки он был человеком, способным оставить не только след в жизни, но и свою дорогу проторить. Не получилось. Видать, временами он и сам это чувствовал. Запомнилось его поучительное слово, которое он сказал мне, когда я был ещё юношей. Не знаю, по какому поводу, но отец подозревал меня, посадил перед собой и произнёс:

– Если даже вором будешь, не будь карманником, будь выше – банки грабь.

Этот образный совет я часто вспоминаю и стараюсь в жизни своей не мелочиться. Человека именно мелочность губит.

Вот такие, хотя и в эскизной форме, мои думы об отце. Они, мне кажется, не ограничатся этой очерковой зарисовкой. Так или иначе отец будет проявляться, будет присутствовать в моих будущих текстах.

Мать

Было время, когда моя мать была мне только лишь матерью. Сначала она вскармливала-вспаивала меня, ставила на ноги, затем тепло, доброту, можно даже сказать, красиво одевала, позже, ухаживая за мной, не имела права даже полслова упрёка в мой адрес высказать. Уж когда состарилась, стала непригодной к работе, должна была, живя в своём доме, не стеснять меня, не отвлекать на себя и безропотно, тихо умереть.

Когда пишу «я», то не имею в виду

только себя, вот, мол, какой я плохой, а другие дети у других матерей хорошие. Нет, просто имеется всё-таки некая закономерность, по которой все дети по отношению к своим родителям в той или иной мере эгоисты. И мы этого недопонимаем, не умеем в полной мере ценить своих матерей, пока они живы. Прискорбно это, но факт.

Всю жизнь матери должны нам. Правда, первоначально так, видать, и должно быть. Коли родила, должна своё

дителя поднять, воспитать, чтобы ребёнок её был здоровым и ходил среди людей достойно. А потом уж, когда окрепнем и твёрдо станем на ноги, то должниками становимся мы, дети своих матерей. Если это правило семейной морали нарушается, то неминуемо рождается трагедия.

Не берусь судить других, скажу о себе. Когда задумываюсь о моих с матерью взаимоотношениях, то могу сказать определённо: она свой материнский долг выполнила с лихвой, и я перед ней в вечном долгу. Не знаю, кто обо мне что думает, но я в силу своих возможностей окружил её вниманием, ухаживал за ней и достойно похоронил. Некоторые даже «спасибо» говорили мне. В благодарностях за свою родную мать я, естественно, не нуждаюсь. Своё место в жизни я прекрасно знаю, и место в ней моей матери тоже. Замечу лишь: она, как и многие другие матери, была достойна более счастливой участи.

Эти строки я пишу не для красного словца и не в своё оправдание. Хоть голову расшиби, нет уже на свете человека, который любил тебя, как никто другой, беззаветно, не замечая твоих недостатков, ошибок, неверных шагов... Теперь уж, что бы ни рассказывал, что бы ни писал, она не услышит и не увидит. Сердце греет лишь то, что, уходя из жизни, она высказала своё благословение и никаких претензий и обид. Матери ведь – они широкой души люди.

Для чего пишу это? Во-первых, я худо-бедно владею пером, и мой долг оставить о матери достойную память; во-вторых, она мне интересна не только как мать, давшая мне жизнь, но и как собирательный образ женщины-матери. Оборачиваюсь на прошлое, и желание рассказать о ней другим людям с годами всё неизбывней и требовательней.

Время, когда жила моя мама, было очень непростым для всей нашей страны. Она родилась в 1909 году, умерла в 1976 году. Между этими датами – Октябрьская революция и гражданская

война, страшный голод 21-го года, коллективизация, Великая Отечественная война, послевоенная разруха и голод, медленное восстановление деревни и начало её нынешнего развала. Всё это прошло через судьбы наших матерей. Им, сформированным на закваске старого времени, пришлось приспособиться к новым реалиям, растить в них своих детей.

На становлении её характера, безусловно, сказалось и то, что у своих родителей она была единственной среди семи братьев дочерью. Она росла среди мальчишек, играла с ними, и нет ничего удивительного, что это наложило свой отпечаток, – у неё выработалась твёрдый, волевой характер, мужская решительность... К тому же и мой дед по-своему баловал единственную дочь – освободил от некоторых домашних женских забот, всюду брал с собой, научил выполнять кое-какие мужские работы. Мать до старости с большой охотой бралась за мужские обязанности по хозяйству и в некоторой мере чуралась женских дел. Косила сено так, мастера-парикмахеры залюбовались бы, запрягала лошадь так, захудалый коняга в оглоблях начинал выглядеть вышколенным аргамаком, дрова колола так, самый упрямый, сучковатый чурбан с треском раскалывался, словно спелый, астраханский арбуз. Одним словом, всякая работа по хозяйству спорилась в её руках. И ругала она нас не тогда, когда не работаем, а когда работаем спустя рукава, абы как.

Насчёт исполнения женских обязанностей по хозяйству – тут можно было кое к чему привязаться. Заплатки, которые она накладывала в военные годы на наши носки, рубашки-штаны, бешметы, получались, мягко говоря, не идеальными и бросались в глаза окружающему деревенскому люду. Сколько вырастила детей, сколько чинила нашу одежду, но штопать-латать бесконечные прорехи в ней так толком и не научилась. В молодости латаную одежду она не носила, и у неё к ней всю жизнь сохранялось внутреннее отвращение.

Когда готовила пищу, рука её по-мужски была щедро-обильной, и блюда, приготовленные ею, были просто объедение.

Мужской характер матери спас нашу семью во время войны. Голодали, но от голода не пухли и попрошайничать не выходили. Да, наши заплатки были не очень красивыми, но на плечах были бешмет, на голове – шапка, и они давали нам тепло. Перед началом войны мы остались без коровы, но, взяв и вырастив телёнка, уже через год с лишним мать кормила нас молоком собственной коровы.

Заленившись порой и откладывая не заладившуюся работу, я вспоминаю маму и, сам себя стыдя, вгрызаюсь в дело с удвоенной энергией. Что касается труда, то всех больше беспокоил её именно я. «Очень уж любишь поспать, – говорила она. – Останешься вот один, с голоду же помрёшь, недотёпа». А по утрам будила со словами: «Вставай, ленивец, уж солнышко поднялось. Коль людей не стыдишься, то светила дневного постыдись!»

Сейчас многие недостатки в воспитании своих детей мы сваливаем на школу, таким образом оправдывая свои недоработки. Наша мать всё брала на себя. Она с нами была то крайне виноватой, то безмерно счастливой. В любви к нам у неё не было никакой искусственности, она никогда с нами не сюсюкала: ой, мой хороший, сыночек, ой, моя единственная дочурка! Она обращалась к нам только по именам. Любовь её была прямолинейной, без излишних родительских экивоков и церемоний. Набедокурил – получай по полной программе. Мы, конечно, в слёзы. И чем больше нам попадало, тем крепче мы цеплялись за её подол. Она как-то быстро остывала и начинала успокаивать: «Ну, что случилось? Давай-ка посмотрим». И после осмотра: «Да ничего не случилось. Зато в следующий раз слушаться будете». И будто поплевав в будто ушибленное место, растирала и улыбалась: «Вот и всё, вот и проехали».

В детстве я думал, что мать меня не любит, потому что ивовый прутик, казалось, гулял по моей спине и т. д. больше всех. Сейчас вот прихожу к выводу: прутик этот мало мне доставался. Я же был ужасный непоседа. Когда мать уходила куда-нибудь, то оставляла меня под надзором старшего брата со словами: «Смотри за этим сорванцом, как бы чего не натворил». Но я всё равно что-нибудь да этакое выкидывал. За такое джигитство разок мне от матери крепко попало. Хоть и терпеливым был, не выдержал, разревелся. От обиды, что позорно побит, и в отместку дал себе слова домой не возвращаться. Спрятался на чердаке в копне сена. Сперва лежал и ждал, когда же начнут меня искать. Но потерявших меня было не слышать, я уже хотел спуститься домой, но неожиданно уснул. Спал, видать, долго. Когда на голос матери проснулся, было уже темно. Мать искала меня: «О Аллах, куда же он запропастился? Уж где только не искали! Всё обшарили...» Долго она причитала. Брату от неё попало за то, что как следует не смотрел за мной. А я, злодей, лежал, закопавшись в сено, и наслаждался чувством свершившей мести. Мать и ко мне на чердак слезила, но я не выдал себя, сидел тихо, как мышь в норке. Она с братом искали меня всю ночь, но я выдержал, не вышел из укрытия. Когда мама заплакала: «Зачем я его обидела, что с ним случилось?», и тогда я не спустился к ней. Вроде и жалел её, но и обида во мне ещё полностью не переварилась.

Не знаю, сколько бы ещё я мучил её, но меня подвела сенная пыль. Мать плакала, причитала у крыльца: «Что делать, где искать его, на дне озера, может?» Тут-то я и чихнул.

Откопал меня в сене старший брат, спустил вниз и передал матери. Я весь съёжился в неподвижный комок, думал, бить будет. Но ошибся. Она сказала лишь: «Неблагодарный». И всё. Я был удивлён. Она обняла меня и снова заплакала.

После этого случая мать замахать замахивалась на меня, но боль-

ше уж оплеух не отвешивала. «Одними побоями этого упряма не исправить», – говорила она. Характерным лишь для матерей шестым ли, седьмым ли чувством она уловила мою потаённую сущность, мою слабинку. Вместо кнута стала применять исключительно пряник, стало быть, доброе, хвалебное слово. Она стала заставлять меня работать, говоря: «Стоит лишь сказать нашему Турфану, вмиг всё сделает. Ему и говорить не надо, гусей он сам быстренько приведёт и аккуратно закроет». И что удивительно, я умел работать быстро. Эта привычка сохранилась у меня и сегодня. Ругая, понукая, заставить меня что-то сделать было невозможно. Со мной надо было подипломатичнее. А ведь такой характер мне достался от неё самой, от матери. Если бригадиры под окном в приказном порядке кричали – пойдёшь на такую-то работу, мать в ответ и ухом не поведёт. Но когда обращались иначе: «Халиса-апа, будь добра, сходи на такую-то работу», она, бросив все домашние дела, отправлялась на колхозные уголья или ферму и работала как вол. Такой характер был не только у неё одной в семье, но и у всех её братьев, старших и младших, которых я хорошо знал. Все были гордцами, не терпящими и намёка на унижение. Эта черта характера передалась по наследству и мне.

Мать гордилась своим родом. И в нас воспитывала чувство достоинства, учила быть настоящими людьми. Вот один из примеров. Как-то со старшим братом взяли небольшую тележку и пошли в лес за дровами. С нами увязался и соседский мальчишка Шагит со своей арбой. На обратном пути встретили на перекрёстке аула мать. Она вдруг вырвала из наших рук тележку и быстро-быстро засеменила к дому. Мы еле поспевали за ней. Только вошли во двор, как принялась ругать нас: «Две оглобли одно воронье гнездо везут. У одного Шагита дров больше, чем у вас на двоих. Как вам не стыдно!» Успокоилась лишь тогда, когда старший брат объяснил, что на их арбу грузить боль-

ше нельзя было, – тележная ось дала трещину. Естественно, ругала она нас не из чувства ревности и жадности, мол, соседский мальчишка один больше нас двоих привёз, а из-за того, что мы перед всей деревней могли после этого похода в лес оказаться посрамлёнными на фоне удалого Шагита.

Когда отец вернулся с войны и прошло с того времени несколько месяцев, мать сказала ему: «Четыре года воевал, а пришёл без единого ордена на груди». И даже после того, как объяснил ей отец, что такое война, она не смирилась: «Если б пошла сама на войну, то меньше чем с двумя орденами не вернулась бы». Это она лишь отцу говорила, а другим она растолковывала значение медали «За отвагу»: «Этот «урдин», оказывается, дают лишь за победу в очень большом, смертельном бою». Именно так – «урдином» медаль эту она называла и превозносила её безгранично.

Мать сильно сожалела, что не смогла дать старшему брату достойного образования и сделать из него большого человека. Беспокоило её и то, что младшая моя сестра не училась. На мою же учёбу не могла нарадоваться: «Наш Турфан учится на очень большого человека. Ниже «сиклитаря» райкома потом его не поставят». Когда в итоге в район не вернулся, настроение её упало. «Проучившись в Москве пять лет, не смог даже председателем колхоза стать», – говорила. Но вот в газетах стали появляться мои малюсенькие рассказы, и мать восторжествовала, ходила и показывала всем мои опусы, хвалила, а если кто выражал сомнение в моём величии, спуска не давала.

Как-то раз зашла в магазин за сахаром и показала там газету с моим рассказом. Тут один из родственников, проявив неосторожность, промолвил: «Надо же, Турфан вдруг писателем стал! Да так, как он, и я могу бумагу марать!» Ну и дала ему жару мать. Выйдя из магазина, сообщила отцу: «Сразила его наповал». «Что ж такого ты ему сказала?» – поинтересовался он. Она отве-

тила: «Мой сын, как ты, не околачивается у магазина и не кланчит на похмелье, а возьмёт ящик водки да и напоит всех ненасытных наподобие тебя». После такого аргумента того как холодной водой окатили, а мое литреноме, можно сказать, умножилось.

Бывало, соберусь в деревню, а мать твердит: «Надевай хороший костюм, шляпу, а во рту чтоб самая дорогая и душистая «фифируса» была». Просила, чтобы деньги не с собой привозил, а по почте присылал. Зачем так, узнал позже. Прежде чем получить почтовым переводом деньги, мать, сославшись на никудышное зрение, просила кого-нибудь в магазине прочесть вслух квитанцию. И потом говорила: «Туфан сказал, если не хватит, ещё пришлёт». Не знаю, сколько денежных переводов я сделал (во всяком случае, не так уж и много), но в памяти односельчан укоренилась мысль, что деньги от меня текли бурным потоком. Всё это мама. Неудержимо было её желание показать нас в лучшем свете. Читая художественные, научные книги, она не оперировала философскими категориями, философия ее была проста: не осрамись пред людьми, не стань посмешищем. Она переживала, прекрасно зная недостатки каждого из нас. Терпеть не могла двуличие. Впрочем, этот человеческий изъян многие не любят, тем не менее частенько двуличивуют. У матери такого не было. Если кто-то был ей не по душе, то уж с ним она и словом не обмолвится. С отцом к нам приходили разные люди. Многих она хорошо знала. И вот одних она встречала открыто, выставляя на стол все, чем были богаты, а иным... и кусочка хлеба на закуску не доставая. Отец потом объяснял ей, что нельзя так, по-людски надо.

Вообще она никогда никому не лестила, не старалась угодить, ни перед кем не заискивала. Нам, что бы ни делали мы доброго и полезного, «спасибо» никогда не говорила. Если другие матери благодарно произносили: «Спасибо, сынок, за гостинцы, значит, не забываешь в городе о нас», то наша

принимала гостинцы не проронив ни слова. Я даже как-то поставил ей это в укор. Она быстро заткнула мне рот: «Всё это ты привёз лишь ради того, чтобы услышать благодарное слово?» И сама она творила добро, не ожидая никакого словесного вознаграждения. Для неё это было органичным, естественным делом. Да и не только она одна – все её родственники были сдержанны в проявлении своих чувств, ни перед кем не рассыпались в благодарностях или похвалах. Воспринимали они добро очень по-своему, как-то внутренне, душой, и благодарили они молча, про себя. Мать дорожила подарками и бережно хранила их. Однажды пришлось понаблюдать со стороны, как она с Зиган-апой раскрыла свой сундук. Я не предполагал, что она умеет так красиво говорить. Она рассказывала о каждой вещи, хранившейся в сундуке, с большой теплотой. Вспоминала, кем и когда подарены аккуратно сложенные платки, полотенца, чулки, платья, нежно расправляла их, поглаживала и говорила «спасибо». Это «спасибо» словно бы произносило и неторопливое, ласковое движение её рук.

Интересно было её отношение к отцу. Об этом я поведал, когда рассказывал про отца. Здесь же добавлю лишь некоторые нюансы. Первым делом надо сказать вот что. Она все делала для повышения его авторитета, не перечила и, самое главное, не унижала. Томительно ждала его с фронта. Нам о нём рассказывала всегда только всё хорошее. В мирное время, бывало, по какому-нибудь поводу упрекала его, но из рамок не выходила. За провинности пугала нас: «Отцу скажу», хотя прекрасно знала, что он нас и пальцем не тронет. Отец обитал в стороне от житейских мелочей, в своём мире, сохранность которого обеспечивала мать. Она учила нас почитать отца. Однажды, в шестьдесят втором году, встретился я со старшим братом в деревне, и решили мы с ним отметить встречу в саду, в кустах малины, подальше от родительских глаз. Только откупорили бутылоч-

ку, как откуда ни возмись мать собственной персоной. «Бесстыжие, – говорит, – нашли место! Сидят пьют, от отца спрятавшись. Разве вы сироты или незаконнорождённые и нет у вас отца родного? Конечно, большими, взрослыми стали, зачем вам отец!» Мы резонно отвечаем: «Ты же сама не велишь с этим делом показываться ему на глаза». Она вспылила: «Что я не скажу! Разве у вас своей головы нет на плечах?» И ушла. Мы позвали отца. Он только взял стакан в руки, как вновь появилась мать. «Бесстыжий, – говорит она отцу, – тебе бы на молитвенном коврике грехи замаливать, а ты тут со своими детьми сидишь и пьёшь!» «Сама же велела его позвать», – сказали мы ей. «Что я не скажу! Разве у него своей головы нет на плечах? – опять вспылила она и ушла.

То, что в словах матери казалось на первый взгляд совершенно нелогичным, на самом деле оказывалось удивительной последовательностью. Это я понял значительно позже.

Второй раз мать изумила меня, когда умер отец.

Сидит она притихшая у изголовья отца, безотрывно смотрит на него и слова не проронит. И вдруг неожиданно промолвила, озадачив присутствующих: «Счастливым ты оказался, вперед меня умер».

Когда отца похоронили, я напомнил матери о тех её странных словах. «А чего тут странного? – сказала она. – Если б я вперед померла, то на кого бы он тогда

остался? Кому бы из вас он нужен был? Когда навестить приезжаете, и то поскорее уехать торопитесь. Разве о родителях забота ваша, за своими детьми-то у вас приглядеть времени нет!»

С каждым годом всё отчётливей понимаю, насколько она была права. Действительно, вот смотрю, у писателя преклонного возраста умерла жена, и мается он, не зная, куда прислониться. Без женской опоры мы, оказывается, беспомощными становимся.

Мать перед смертью болела долго. Дышать ей трудно было, задыхалась. Одно слово – астма. Тяжёлая болезнь. Однако при надлежащем уходе, при определённом режиме астматики могут прожить весьма долго. Наша мать к числу прилежных больных не относилась, её беспокойная жизнь зачастую шла вразрез с противопоказаниями врачей. Не береглась она, и болезнь обострилась. Чтобы облегчить свое состояние, она стала принимать много лекарств, но они уже не помогали.

Умерла мучительно. И мы не в силах были облегчить её участь. Сейчас мне кажется, не всё мы сделали, чтобы спасти её. Эх, была бы она ещё жива!..

Но реки не текут вспять. Так и жизнь. Ушла она без обиды на нас – и это единственное наше утешение.

На деревенском кладбище могилы отца и матери рядышком. Объединены они одной оградой. И памятник у них один. На этом памятнике обозначены и имена их детей, тогда ещё живых. Теперь двоих из них уже нет.

Старший брат

Хотя и тяжело я перенёс смерть родителей, но всё равно потеря их с течением времени природой предполагалась, была естественной. Худо-бедно прожили они по семьдесят приблизительно лет. Никто не приходит на белый свет навечно. И эта жизненная логика в некоторой степени утешала.

Потрясла меня глубоко смерть моего старшего брата. Ему было всего сорок пять лет – жить да жить, казалось бы. С его смертью я растерялся, испугался, прямо скажем. Могилу ему даже не разрешил копать рядом с могилами отца-матери, заставил похоронить его на другом конце кладбища. Мне каза-

лось, если он ляжет рядом с отцом и матерью, то призовет к себе и меня. Я младше его был всего на три года, и после него очередь была моя.

Я и сейчас часто думаю о старшем брате, о родном Кабире-абый. Думаю, и душа болит.

Пропала даром, разбилась преждевременно его жизнь. Я даже не могу сказать, что он в общепринятом смысле умер, нет, смерть не должна быть такой.

Брат был талантливым человеком. Но свои природные способности на своём жизненном пути проявить не смог. Он был дитя своего трагического времени, и жизнь его оборвалась трагически.

У отца с матерью Кабир был первенцем – родился в 1932 году. Рос здоровым ребёнком. Мать рассказывала, что он был очень пригож собой, и его берегли от сглаза.

Узнавать своего старшего брата я начал с того времени, когда мне захотелось всюду следовать за ним. А ему таскать меня с собой не хотелось. Увязаться за старшим братом – какое это счастье! У кого нет старших братьев, этого не поймут; у кого нет старших братьев, в какой-то мере сироты. Когда рядом с тобою старший брат, ты не боишься никого, даже соседского гусака. И сам чёрт тебе не страшен, когда рядом с тобою старший брат. Со старшим братом не страшно зайти в самую тёмную лесную глушь, при нём можно с разбегу нырнуть в самое глубокое место в озере. Брат обернёт в бегство матёрого волка в лесу, брат вытащит тебя из любого водоворота.

Но младшие братья для старших – лишние хлопоты. Они не любят эти прилипчивые, капризные «хвостики» за собой. Вдобавок все младшие братья – ушастики, слышат всё – и нужное, и ненужное и к тому же язык за зубами держать не умеют, возвращаются и выкладывают всё маменькам.

Видать, и я был таким же. Хотя не помню, чтобы ябедничал. Вообще такой дурной привычки у нас дома не

было – попадало именно тому, кто ябедничает.

Я и в школу пошёл сразу вслед за братом. Хотя для учёбы в школе и был маловат, прогнать меня не смогли и приняли в первый класс. Конечно же, не чрезмерная любовь к знаниям повлекла меня в школу, а всё та же неизбывная в моём младенческом возрасте тяга к старшему брату.

Когда отец ушёл на фронт, все тяготы сельской жизни военного времени в тылу легли на плечи старшего брата, наравне с матерью. Он делал все домашние работы без разбора. Я это хорошо помню, так как с младшей сестрой Уммией был полностью на его попечении.

Вскоре старшего брата начали заставлять работать и в колхозе.

Одно событие врезалось в память. Как-то рано утром вбежал в наш дом председатель колхоза (матери дома не было) и стащил спящего брата с постели. «Бесстыжий, сам уже мужик мужиком, а до сих пор дрыхнешь. Кто за тебя работать будет?» – ругался он и потащил брата из дому. Мы с Уммией заплакали.

Тогда ему было от силы лет двенадцать.

Осталось в памяти, как я носил в поле брату покушать. Он ходил там за плугом и парой лошадей. Запомнилось и то, как он запрягал корову и возил снопы. Он работал вместе со взрослым соседом Нурисламом и живущим за огородом Нурахметом-абый.

В тот год войны мы вступили в зиму весьма по тем меркам обеспеченными. Несмотря на слова матери: «Не доведёшь ты нашу семью до добра», брат мало-помалу таскал домой рожь, пшеницу... (Язык не поворачивается сказать: крал. Должны же были платить работнику за труд в колхозе. А в те годы ничего и ничем не платили. А жить-то надо было.) Принесённое мы надёжно прятали, а зимой мололи на крупчатом камне и ели, спрятавшись. Наверное, из-за своего тогдашнего мальчишества брат не знал, что такое страх.

Ещё одна зарубка памяти. Однажды, когда везли на тележке сено, попался нам навстречу председатель сельского Совета. Ездил он верхом на коне Весёлый (мы звали его Бичули). Как увидели его, спрятались под тележку. Бежать нельзя, догонит – хлестать начнёт кнутом. Точь-в-точь как во времена крепостного права, о которых мы читали в учебниках истории. И такое творилось не только у нас в деревне, а по всему Советскому Союзу. Так вот, председатель пытается достать нас кнутом, да не может, тележка мешает, а с коня слезть не может – хромой потому что. Ругался-ругался, да и ускакал не солоно хлебавши. А мы под тележкой лежим и смеёмся. Весело нам.

В начале сорок третьего года мы купили телёнка. К концу сорок четвертого у нас была уже полноценная корова. Сколько труда было вложено в это старшим братом, знала только лишь мать. Позже, вспоминая то время, она часто говорила нам: «Скажите брату спасибо».

Когда кончилась война и отец вернулся с фронта, старший брат был для нас уже совершенно взрослым человеком. А ведь тогда ему было всего тринадцать лет. Отец хотел обнять его по возвращении, но брат не дался: «Ладно тебе!» Дескать, не ребёнок я тебе уже давно. Тому я сам свидетель.

Старший брат и после возвращения отца продолжал тянуть лямку в семье. Время было суровое, а отец был сверхчестным человеком. В то время честным людям приходилось туго. Впрочем, во все времена так было.

Как бы ни было трудно, мать настояла на том, чтобы старший сын продолжил учёбу. Учился брат хорошо. Хвалили его в школе.

Не выдержав непосильного гнёта и унижения, деревенский люд потихоньку уезжал в город.

Когда старший брат, окончив семилетку, уехал в Казань, в ремесленное училище, ему было лет пятнадцать, точно не помню. На фотографии тех лет он совсем ещё мальчишка.

Если не ошибаюсь, не было у него желания уезжать. Мать его уговорила: останешься в деревне – пропадёшь. Брат скучал по деревне, приезжал каждую неделю.

Потом пообвык. Да ещё как! Если бы не пообвык, вернулся бы. Очень многое из городской жизни он быстро усвоил. Многие деревенские мальчишки, как он, ещё внутренне не окрепшие, без присмотра и доброй подсказки, восприняли в большом городе чёрное за белое, изнанку жизни за лицевую сторону. В стремлении поскорее стать взрослыми и самостоятельными прирастали к спиртному. Говоря о городе, быть может, я невольно задаваю Казань. Предоставленные сами себе подростки могут свернуть с пути истинного, безусловно, в любом месте. Судьба почему-то испытывает их вдали от отчего дома исключительно на излом.

Окончив ремесленное училище, брат начал работать и собираться с друзьями в общежитии. Пили уже с песнями. Получали не ахти какую получку, но и её пропивали за несколько дней. Мать ругала брата, но город научил не слышать нравоучения матерей. Мол, что они, деревенские неграмотные женщины, понимают!

Когда я после десятилетки вернулся с целины, наш двадцатитрёхлетний брат был уже настоящим пьяницей. За шесть лет город вот так вот успел «перевоспитать» чистого, трудолюбивого деревенского мальчишка.

Тут и характер его пособил – открытый, щедрый. Впрочем, щедрость у него была какая-то необузданная. Не умел он держать деньги в кармане. У нас и отец был таким же. «Если у него заведётся рубль, не знает, как от него избавиться», – говорила про отца мать. Старший брат – в него. На самом деле брат был трудолюбивым человеком и неплохо зарабатывал. Но я не помню, чтобы у него водились деньги. В дни получек собирались возле него друзья и всякая всячина, любящая угоститься на дармовщину. Брат сорил деньгами, а когда они кончались, маялся, потом начинал работать день и ночь.

В 60-х годах Кабир-абый из Казани уехал. Душа его металась. Из человека, ищущего свою линию жизни, он превращался в перекати-поле. Брат чувствовал своё незавидное положение, но ничего с собой поделаться уже не мог, слишком рано водка вошла в его жизнь и сломала силу воли. Он был ярким представителем «потерянного поколения» Ремарка – его послевоенный вариант.

Хорошо помню, как мы долго разговаривали с ним с глазу на глаз. Он был навеселе, но не пьян. Он учил меня жить, учил, как не затеряться в этом мире. Сейчас я понял: его слова были в большей мере адресованы не мне, а самому себе, это высказывалась боль за свою исковерканную судьбу и надежда взять себя в руки.

Когда брат обитал в Узбекистане, я учился в Москве. Встречались редко. Вернувшись в Казань, опять долго его не видел. Съездить в Узбекистан не довелось, и он не приезжал, отвык, видать, от родной стороны.

Нет, конечно, не мог он отвыкнуть от родных мест, от родной деревни. Деревню свою родную прочно хранил он в своём сердце. «Поброжу немного и вернусь в наш аул, обоснуюсь там. Вот только исполнится сорок лет, ни минуты не задержусь в чужих краях, – говорил он, когда встречались.

Мечтал он построить дом в деревне, жить, держать скотину... Рассказывал даже, что это будет за дом, как он его украсит.

Не было такой работы, какую бы брат не знал. Он и каменщик, и плотник, и мастер других дел, о которых я и не слыхивал. Родителям дом построил – загляденье. О доме, построенном им в Узбекистане, в Мирзачуле (ныне Гульстан) я слышал восторженные отзывы. Беда лишь в том, что результатом своей работы насладиться ему не удалось. Жизнь у него пошла по наклонной, и вкуса от сделанного он не находил.

В Узбекистане и женился. Но жена не смогла взять его в руки. Слишком далеко зашла болезнь. Да и скажу, все

мы очень упрямые люди, весь наш род такой. Чтобы удержать нас, жёнам надо быть умными, хитрыми, терпеливыми. Поглядят против шерсти, сразу взбрыкнёмся. Но стоит приласкать, проникнуть в душу, ручными можем стать. Брат был таким же. Не любил, когда поучают, делал всё наоборот. Но был добр и отзывчив.

Ни в чём не собираюсь обвинять сноху. Видать, не хватило её быть сильнее брата. Потом ведь сейчас девушек не учат, как жить с мужем совместной жизнью. Сейчас жёны сами с усами. Вот и остаются с этими своими усами, и распадаются семьи. Если бы со старшим братом рядом был человек, искусно маневрирующий на совместном жизненном пути, где уговорами, где лаской, а где и хитростью направляющий на путь истинный, то, мне кажется, мой старший брат был бы ещё жив.

Никого не обвиняю, пишу от безысходности. Очень не хватает мне моего старшего брата, скучаю по нему. Был бы жив, приезжал бы к нему в деревню и сидел бы с ним и разговаривал долго-долго. Мы б нашли, о чём поговорить. Оказал бы ему посильную помощь. Его хозяйство наверняка было бы образцовым. У него ж, я говорил, золотые руки были. И начитан он был основательно, и мысли его об устройстве и проблемах мира были глубоки и интересны.

И в Узбекистане он не смог пустить корни. С женой и двумя детьми подался в сторону Тюмени. Обосновался там в городе Нефтеюганске. Но оборванные корни заново не пустишь. Много у нас по стране скитающихся, сорвавшихся с родного прикола и летящих неведомо куда без руля и ветрил. Среди них оказался и мой брат.

Что нашёл он в краю тюменском? От самого себя не убежишь. Продолжил и там катиться в бездну. Изредка наезжал, показывался в деревне. Но почеловечески поговорить с ним было уже невозможно. И на похоронах отца был нетрезв. Просто не узнать было его. Походил он на семидесятилетнего ста-

рика. Тогда-то я дал себе слово, что не поддамся зелёному змию. Но эта проклятая водка уже хозяйничала в нашем обществе, и мне тоже пришлось помучиться, прежде чем окончательно взять себя в руки. Но когда всё-таки приходилось выпивать, перед глазами неизменно вставал брат. Хоть совсем не получилось завязать с водкой, тем не менее могу сказать, что сегодня я почти не пью. А если и приходится поднимать рюмку – боюсь. Боюсь смерти. По-настоящему боюсь. Я видел множество людей, пропавших через это дело. Меня уже не обмануть, не провести на мякине. Никогда я не был во власти водки, но она всю дорогу крутилась вокруг меня, да и сейчас крутится. Будь она проклята! За всех младших, населяющих нашу страну, переживаю. Если б знали, как я боюсь за них, сто раз подумали б, прежде чем и стакан простой воды в руки взять.

И самого младшего родного брата потеряли мы через эту самую напасть. Было ему всего тридцать лет. О нём отдельный разговор, здесь просто вскользь упоминаю, для показа серьёзности этой проблемы.

Всё-таки вернулся брат в деревню. Один вернулся. Я тогда был в Москве, на Высших литературных курсах. Почему без семьи вернулся, не знаю. Но, понятное дело, догадываюсь.

Вернулся и с того дня ни грамма в рот не брал. Говорил: что было, то было,

хватит, надо начинать новую жизнь. Чулан перекроил в мастерскую и принялся делать оконные рамы и продавать. Родственники не могли нарадоваться. «Дом ваш, Туфан, слава Аллаху, ожил, Кабир сделает его красавцем», – рассказывали мне родственники. «И сам Кабир похорошел», – говорили.

Но в один прекрасный день брат принялся за старое, начал пить. И умер, сидя на стуле. О его смерти узнали лишь на следующий день. Думали, сидит, положив голову на сложенные на столе руки, и спит. А он... А у него сердце остановилось.

Больше не могу писать. Не знаю почему, но в его смерти виню и себя. Кажется, если б постарался, то смог бы предотвратить трагедию. Впрочем, это только сейчас так думается. От этой проклятой водки и общества, где она стала хозяйкой, впору было и меня самого спасти. Меня, пожалуй, спас мой старший брат, точнее, его смерть.

Мы пытаемся очень быстро и легко исправить общество. Десятилетиями наводили порчу, а теперь за несколько лет хотим выправить положение. Сперва надо ещё каким-то образом протрезвить его. Но наше общество не подвластно указам и законам. Ещё сколько жертв придётся принести, ещё сколько слёз придётся пролить над могилами родных и близких, чтобы протрезвиться. Погиб брат. Загубили брата. Нет прощения тем, кто так или иначе спаивает народ.

Младший брат

Давно собирался о нём писать, но не мог. Мне казалось, что я своим письмом оскорблю его память. Читатели могут сказать: вот тоже, не нашёл писатель ничего лучше, чем на письме чернить своего младшего брата. И сейчас не перестаю думать: как же рассказать другим людям о родном человеке, покинувшем этот свет младшем брате, не задевая его чести и достоинства?

А рассказать о нём надо.

Он был последним ребёнком у отца и матери. Звали его Ринат. Когда он родился, отцу было 47, а матери 41, то есть это был 1950 год. Быстренько собравшись, сходил я в сельсовет и сам записал его имя. Такие дела в деревне делаются быстро. В те годы на то, какое дать имя ребёнку, смотрели легко, даже не спрашивая родителей. В дан-

ном случае моего слова было достаточно. Щепетильнее относились к кличке какого-нибудь щенка, советовались, спорили... А человеку дать имя ничего не стоило, и потом он должен был носить его всю свою жизнь. Не знаю, как у других народов, но у нас, татар, с 17-го года, нет, точнее, с тридцатых годов дают имена чёрт знает какие. Перечень их необъятен, в нём не только имена практически всех народов мира, но и названия городов, а также имена, состоящие из инициалов политических лидеров, всевозможных сложносокращённых слов из революционно-политического лексикона. Не знаю, когда наше сознание прояснится от этого «интернационального» дурмана.

У Рината, кроме старших братьев и сестры, родившихся до войны, были ещё два старших брата, появившихся на свет после войны, – Реваль и Альберт. Эти имена им дал также я.

Младенческих лет его я почти не знаю. Тогда я странствовал по свету. А когда возвращался в родную деревню, то, видать, на детвору, путающуюся под ногами, особого внимания не обращал.

Запомнилось, был он очень милым, симпатичным ребёнком. По натуре проказник и фантазёр. Начнёт что-нибудь рассказывать – заслушаешься, и люди его фантазиям верили. Смотрит на тебя угольными глазёнками, а в них играет какой-то хитроватый лучик, и несёт тебе без запинки чёрт знает что.

Когда утонул его старший брат 1946 года рождения, он рос с другим братом, Альбертом, 1948 года рождения. Ринат был мне как-то ближе, видимо, нравился он мне тем, что, как и я, любил приукрасить мир фантазией. Альберт же был по характеру своему практиком. Он, слава Аллаху, и по сей день здравствует.

Рината и мать любила больше. Говорят, что матери добавляют последним детям и ту свою любовь, которая может быть, была бы предназначена последующим, не рождённым детям.

Если кто-то одёргивал Рината за какие-то проказы, мать коршуном нале-

тала на «обидчика». И самая вкусная еда за столом перепадала ему. Мать даже отделяла для него лакомые кусочки от «общего котла». Делала она это не из-за того, что не любила отца или Альберта, а исключительно из-за своей слепой любви к меньшему сыночку. И, по-моему, это было её самой большой ошибкой.

Я много размышляю об этом и прихожу к выводу, что нельзя любить кого-то больше, чем положено. Ни своего ребёнка, ни даже отца с матерью, ни свой народ, ни Родину свою. Потому что из-за слепой любви забываешь других, превознося одного-единственного, не замечая в нём недостатков, теряя способность трезво видеть и здраво мыслить.

Любовь к ребёнку в разумных пределах даёт ему правильное воспитание и строит между родителями и детьми правильные взаимоотношения. То же самое можно сказать и о любви к родителям, народу, Родине. Любовь без розовых очков даёт возможность надлежащим образом почитать своих родителей и помогать им, служить верой и правдой своему народу, защищать и благоустраивать свою Родину. Человек, чрезмерно любящий деньги, никогда богат и счастлив не будет, и зачастую жизнь его заканчивается трагически. Излишне избалованный ребёнок очень часто приносит семье несчастье. Это прописные истины, но мы их забываем.

О том, что мать балует Рината, мы говорили ей. Но она, к сожалению, ни на наши слова, ни на замечания отца внимания не обращала. Хоть и была она умной, волевой женщиной, перед любовью к своему младшенькому чаду оказалась бессильной.

В памяти осталось одно событие, которое никогда не забыть. Как-то, играя, Ринат залез на крышу и упал, ударившись животом. Я увидел, как мать подбежала к нему, подняла, прижала к груди и застонала, не зная, что делать. Стон её не описать, она издавала такие неведомые звуки... Я никогда не

слышал такого стога, даже тогда, когда сама она лежала смертельно больная, мучилась, не могла дышать...

Я не могу понять матерей, бросающих своих младенцев. Я вообще не могу называть их этим словом – «мать». Не матери они, не знаю кто – нелюди, хуже животных. Впрочем, животные и под страхом смерти своих детёнышей не бросают.

Читатель поймёт меня, когда я уйду чуть в сторону от повествования о младшем брате. Это вполне естественно, через призму его судьбы я смотрю на бескрайнюю, многообразную жизнь и размышляю.

В школе братишку ждало другое несчастье. Безразличие называлось оно. Ринату достался учитель с очень ограниченным кругозором, откровенный невежда, просто-напросто не имевший права быть учителем. Для него учить детей было тягостным и скучным делом. Детей, пришедших в первый класс, за людей он не считал, всячески унижал, обзывал... Об основах педагогики, таких, как стремлении раскрывать присущие ребёнку способности и развивать их, он и не слыхивал. Какой там индивидуальный подход к ребёнку! Не знал он учительского дела и знать не хотел.

В руки такого вот человека попал озорной, избалованный и к тому же любознательный ребёнок, который на любое событие смотрел как на сказку, старался докопаться до сути каждой вещи. Ясно, что такие дети – самые лютые враги «деревянных» учителей.

Результата ждать пришлось недолго. Уже через несколько дней Ринат в учёбе разочаровался. Не помогли ни внушения, ни слёзы матери. Не только в нашей семье, но и во всём роду не было плохо учащихся детей. Ринат был первым. Повторяю, от природы он был очень способным.

Ходить-то в школу он, конечно, ходил. Но это уже не было учёбой в полном смысле этого слова, а была какая-то имитация, тяжкая повинность. Кое-как закончив начальную школу, Ринат продолжил учёбу в соседней деревне.

К нему там, видимо, отнеслись внимательнее, и учёба его стала выправляться. В той школе преподавали учителя, у которых ещё я учился. Они говорили, что Ринат способный мальчик, но желания учиться у него нет.

С грехом пополам окончив то ли семилетку, то ли восьмилетку, Ринат наконец-то от школы избавился. В то время я как-то потерял его из виду. У самого были проблемы. Окончив училище в Москве, вернулся в Казань, где меня не ждали ни квартира, ни зарплата... Иногда он с Альбертом навещался ко мне. Иной раз и сам я приезжал в деревню, но мне тогда, откровенно говоря, было не до них.

Что поделывать, прошлое не вернёшь, кайся не кайся.

Когда я уравновесился немного и смог оглядеться, Ринат был уже «готов». Альберт учился и работал, а Ринат, к труду не привыкший, бил баклуши. И пил. Научился уже.

Приезжая в деревню, я пытался с ним поговорить по душам. Но он не слушал, на откровенный разговор не шёл, смеялся лишь. Киномехаником стал – ходил кино показывал. Односельчане любили его. Прозвище дали ему: Корреспондент. Наверное, за то, что всякой всячины много рассказывал. Мне говорили, что с его даром он и меня на моём литературном пути обгонит. Я не возражал. Может быть, так оно и было.

Здесь хочу заметить, не было в его душе ни капли грязи или озлобленности. Драться не умел. Добрым был. В кармане заводятся деньги – угощал всех подряд. Деревенские ребята тянулись к нему. И не только чтобы угоститься, но в первую очередь чтобы услышать что-то новое и занятное. С ним интересно было.

А мне совсем не интересно. Чувствовал, что такая жизнь братишки до добра не доведёт. С матерью говорил о нём. И она в отчаянии была. Но причину его легкомысленности, его заскоков старалась искать на стороне, мол, друзья его виноваты. Она говорила также:

вот работал бы он на тракторе – другое дело, но ему старый трактор дают. Забыл сказать, что он к тому времени имел за спиной курсы трактористов.

То было время, когда моё имя заперстрило в газетах. В районном центре меня уже знали. Вот я и поехал в районный центр, поговорил там, и Ринату дали новый трактор.

Через пару дней, как получил новую технику, поспорил он с сыном Бадрутдина-абый, чей трактор сильнее. Прицепились стальным тросом, и давай два трактора тягаться. Состязание закончилось тем, что трактор Рината бесповоротно вышел из строя – ремонту после не поддавался.

Услышав это, я ушам своим не поверил. Как же так? Но всё оказалось правдой. А Ринат лишь смеётся: я, что ли, виноват, раз трактор вышел с завода недоделанным. (Позже этот эпизод я включил в пьесу «Поля мои, луга мои». Некоторые не поверили, в жизни, мол, такого не может быть.)

Братишка наведывался и в нашу казанскую квартиру. Откроешь дверь, а он стоит улыбается. Успел уже выпить, глаза блестят. Зачем пришёл, сам не знает. Если не поставишь бутылку, уходит обиженным.

Позже я сказал ему: ещё раз придёшь подшофе, не пушу. Так и сделал пару раз. Сейчас сожалею об этом. Думаю, что по отношению к младшему брату проявил я бессердечие. Быть может, и так. Но я старался по-своему воспитывать его. Не получилось. Советовал жениться, а он в ответ: ты вот, женившись, счастлив стал? Умел он оправдывать свой образ жизни. Философствовал так, что порой слова в ответ не подберёшь.

Со временем я совершенно разочаровался в нём. Особенно после того, как на похоронах отца ходил он под мухой. Когда хоронили мать, тоже был пьян. Сильно плакал. Надо признать, он очень любил мать. Верю, что он за свою жизнь не сказал ни одного тяжёлого слова ей. Их отношения на протяжении всех лет оставались как отношения ма-

тери и младенца. В каком бы состоянии ни был он, мать смотрела на него словно на ребёнка малого. В свою очередь и он под крылышком матери искал утешения. Мать, бывало, ругала его, но нам этого делать на разрешала, говорила – сперва на себя поглядите.

После смерти матери братишка мой куда-то исчез.

В это время вернулся старший брат с намерением обосноваться на родной земле. Когда он уже собирался привезти свою семью, в деревне объявился и Ринат. Писать об этом даже не хочется, но не скрывать же. Хоть старший брат и клялся, что больше пить не будет, пил с Ринатом напропалую и в итоге распрощался с белым светом.

Приехал хоронить брата, настроение – жить не охота. Ни с кем разговаривать, никого видеть не хотел. Ладно ещё со мной был другой младший брат – Альберт. Похоронами старшего брата в принципе полностью занимался он. В полной растерянности стоял я у тела старшего брата. Возрадовался было, когда он вернулся с намерением начать новую жизнь, думал, не распадётся родное гнездо, но всё разбилось вдребезги. Старшему брату я всё-таки верил, младшему – нет.

Когда мы с Альбертом приехали в деревню на похороны, Ринат был под хмельком. Говорю ему: «Умоляю тебя, хотя бы в эти дни не пей, воздержись». В доме собрались родственники, приготовились обмывать покойника. Стоим на веранде, здесь же верстак, который он соорудил собственными руками, инструменты... Разговариваем о нём, вспоминаем, каким он отличным был столяром.

В этот момент, покачиваясь из стороны в сторону, заходит Ринат. Что случилось со мною, даже не знаю. Схватил топор с верстака брата... Когда топор был уже над его головой, меня успели удержать.

Чтобы больше не видеть его, совсем в деревню перестал ездить. Но, как бы там ни было, как без родной земли обойдётся? В один прекрасный день при-

ехал. Но в свой дом не зашёл, решил переночевать у старшего брата матери (звали мы его Молодой Дед). Думал, братишка всё равно пьян, зайду завтра и попробую поговорить с ним в последний раз по-хорошему, может быть, прислушается.

Сидим разговариваем с дядей, заходит Ринат. Трезв. Лицо серьёзно. Говорит: чего у людей ночуешь, что, у тебя в родной деревне своего дома нет, уму-разуму учишь, а сам?..

Так он это сказал, что не знал я, куда деваться от стыда. Слезы на глазах появились. Пошли мы, два брата, в отчий дом. Молчу, слушаю его, будто какую-то утерянную вещь нашёл, дорогую своему сердцу. А он говорит: «Думаешь, что у меня денег нет, чтобы угостить тебя?»

Зашли в дом. В нём пусто. Стол без клеёнки, постель не застлана, пара табуреток у стола, и всё.

Сел на одну из табуреток. Когда рядом с тобой трезвый брат, не замечаешь и пустоты в доме. Он присел напротив:

– Большим человеком стал, хвалят тебя кругом.

– Как сам поживаешь?

– Не хуже тебя, – отвечает. – Вот только что приехал с шабашки. Полный карман денег. – И выставляет две бутылки водки.

Я растерялся.

– Убери это и не пей, пожалуйста.

– Как же так, приехал брат и не угостить его? – удивляется он. – Я ещё не совсем пропащий человек. Закуси, правда, нет, не обессудь уж. Зато и мух не видать. Чисто дома, и они перелетели к Нурмыю-абый.

Вытащил два стакана, наполнил до краёв.

– Поднимем за встречу.

– Нет, – говорю, – я не буду пить.

– Со мной и выпить брезгуешь, и ночевать пошёл мимо меня к дяде, – сказал и стал пить, утираясь рукавом.

А я смотрю на него и не знаю, что делать. Пытаюсь остановить его: нельзя так пить. А он лишь усмехается и пьянеет.

– Да, прочитал ты мне мораль, – говорит. – А вот сейчас меня послушай. Вот, скажем, пришёл я к тебе в городе домой и начал учить жить: Турфан Миннуллин, почему ты так живёшь? Водку не пьёшь, нельзя так. Что ты на это скажешь? Выгонишь меня из квартиры. Вот и меня тут не учи уму-разуму. Тебе так нравится, а мне эдак. Ты с другими пьёшь, лишь с младшим братом брезгуешь.

Потом он начал плакать, обнял меня. Я не знал, что делать. Взял да и выпил что было в стакане. До дна. Сразу опьянел, помню, что уж плакали потом вместе. Всё же ушёл ночевать к Молодому Деду. Всю ночь бредил. На другой день уехал, с Ринатом не попрощавшись. Опять пропал интерес к жизни.

Это была наша последняя встреча. В тот же год Ринат ушёл из жизни. Было ему всего 30 лет.

Виню себя, нет причин для оправдания. Сейчас, конечно, каюсь. А тогда вот не приехал. Думал, Альберт будет корить меня после, но нет. Видать, понял моё положение.

Такова судьба моего младшего брата, одного из представителей рода человеческого. Написал я это в один присест, не отрываясь. Если б прервался, то и закончить не смог бы.

Может, и вообще писать не стоило? Но ведь кому-то надо рассказать об этой трагедии, о брате, погибшем от пьянства. Найдутся и такие, которые скажут про меня: смотри-ка, братья-то у него были алкашами. Пусть говорят. Я ещё добавлю, что меня самого спас, наверное, Всевышний. Потому что в этом страшном мире ходишь-ходишь и под гнётом проблем, решение которых от тебя зачастую не зависит, растерявшись, хватаешься за бутылку. Мы живём в стране пьяниц, алкоголиков, мы живём словно в бочке, наполненной до краёв водкой. Куда бы ни пошёл, что бы ни делал – всюду встречает нас водка. А людей с тонкой натурой водка быстро сбивает с ног. Чтобы в наших условиях противостоять этому злу, нужна железная сила воли.

Однажды эта болезнь прилипла и к брату Альберту. Начал пить. Я испугался. Как-то не вытерпел и сказал с болью в сердце: «Двоих уже похоронил и тебя как-нибудь похороню, помирай скорее».

Слава Аллаху, уже сколько лет Альберт и капли спиртного в рот не берёт (тьфу-тьфу-тьфу, как бы не сглазить). Спроси меня: какое твоё самое большое счастье? И я отвечу: мой трезвый младший брат Альберт.

Сегодня я очень беспокоюсь – татарский народ стал пить поголовно. Крестили татар – они не исчезли, интернационализировали – всё равно живут. Наконец найден выход – водка. А оттого, что веками иммунитет у не пьющих по вере мусульман не выработан, спиваются татары быстро. Самое страшное – и женщины начали пить. Как можно противостоять этому злу?

Надо взяться за ум, друзья. Пропадём ведь.

Казашка

27

Старухи копаются в своих сундуках и вспоминают молодость. Я вот тоже покопался в сундуке своей памяти. Воспоминаний много. Есть тоскливые, о которых вспоминать-то не хочется. А есть светлые. Их сегодня и хочется воскресить в памяти. Душа чистого, светлого требует. Писать о молодых годах своих – одно удовольствие. Молодость – хороший парень. Мы оба отличные ребята. Спасибо тебе, что я дожил до сегодняшних дней.

Когда я оказался на казахской земле, мне было 19 лет. Работа, доверенная мне, была очень ответственной – главный бухгалтер совхозрабкоопа. Должен был иметь дело с миллионками. Знания основательные, а ума – не ахти. Не прошёл ещё школу жизни. Сказали: целина, собрался и поехал.

Привезли нас в казахскую деревню Каенлыкюль (по-татарски – Берёзовое озеро). Определили на квартиру в одну казахскую семью. Хозяйке около 55 лет. Муж на фронте погиб. Старший сын со своей женой живёт отдельно. Хозяйка живёт с дочерью, которая младше меня на три года.

Хозяйка, когда узнала, кем буду работать, языком щёлкнула:

– Ой-бай-ай, ты, оказывается, большой начальник!

А когда узнала, сколько мне лет, пожалела, погладив меня по спине и заплакав:

– Ой-бай-ай, ребёнок ещё совсем.

Оказывается, у неё самой тоже есть сын моего возраста, служит в армии. Показала мне его фотографию. На фото он в военной форме и внешне похож на меня.

Так с первого дня стал я своим человеком в этой семье. Хозяйка меня баловала, подкладывала мне куски мяса что пожирнее, подливала молока что посвежее и погуще. То, что она обращалась ко мне с особым чувством, не осталось без внимания дочери. Она стала смотреть на меня как-то косо, мать-то на неё теперь внимания обращать стала меньше. Девушка, родившаяся в маюсенькой, далёкой от большого мира деревушке, сперва смотрела на меня сквозь узкие прорези глаз из-под подковок смоляных бровей с интересом. А я больно-то внимания на неё не обращал. Хотя ей и было уже шестнадцать лет, на вид она была суший ребёнок. Окончив в своей деревне четыре класса, она учиться дальше в соседнюю деревню не пошла. И вроде нигде не работала.

Что она делала целыми днями, не знаю. А вечерами сидела рядом с матерью и при свете керосиновой лампы вязала носки. Мать что-то беспрестанно рассказывала. Иногда и запевала. Я многое из её песен не понимал, но песни в целом нравились. Голос у неё был грудной, проникновенный, песни – мелодичные.

Девушка при этом молчала. Лишь время от времени смотрела на меня и ухмылялась краешком по-детски припухлых губ. Но со временем, как я уже сказал, улыбка с её лица стёрлась, осталась лишь колючий взгляд.

По прошествии трёх-четырёх месяцев она стала говорить мне:

– Плохой нугай, уходи от нас.

Я над её словами только посмеивался.

Как-то раз при матери она бросила в мой адрес какие-то резкие слова. Мать отругала её. Девушка заплакала:

– Нугая ты любишь больше меня.

Сказала это она на своём языке, но к тому времени по-казахски я более-менее стал уже понимать. К своему удивлению, казахский язык я выучил очень быстро и считаю его одним из самых ласковых языков мира. Бывают моменты, когда вдруг хочется услышать казахские слова – «айналаен», «бавырым», «ай».

Отношения с девушкой обострялись всё больше и больше. Когда её мать разговаривала со мной, она отходила в сторону и сидела там тихонько. Мать пробовала разъяснить ей: «Он же издалека приехал, здесь у него ни отца, ни матери, он же тут как сирота».

Дочь в ответ своё:

– Пусть уходит. Если он не уйдёт, то я уйду.

Я перестал улыбаться на её нешуточные заявления, дело оборачивалось таким образом, что уже не до шуток было.

Раз она даже замахнулась на меня палкой. Была уже весна, середина апреля. На улице половодье. Возвращаюсь с работы, настроение хорошее. Директор совхозрабкоопа Панченко что-то пробубнил вслед по обыкновению, но я к его ворчанию привык, и главное, когда выходил с работы, поцеловался с девушкой, работавшей у нас счетоводом. С этой радостью и шёл домой, посвистывая. А у дома стоит мой юный «враг» в лёгком платьице, с руками за спину.

– Здравствуй, красавица, – говорю

ей. А у неё из-за спины появляется палка. Замахнулась. Кое-как успел перехватить. Начали перетягивать её друг у друга. Я потянул на себя сильнее, и «красавица» оказалась в моих объятиях. Начала царапаться. Я, увёртываясь, прижимаю её к себе всё сильнее. Задрыгала ногами, стала пинаться. Услышав шум, вышла из дома мать и насилу оторвала свою дочь от меня. Та вся в слезах убежала домой, а мать, увидев моё окровавленное лицо, запричитала:

– Ай-бай-ай, ай-бай-ай!

На другой день я ушёл от них. Дали мне в вагончике маленькую светлую комнатку. Деньги есть, авторитет – тоже. Чего ещё надо, зажил припеваючи. Девушки в гости захаживали. Панченко ругался, пугал меня разными болезнями, которые, ему казалось, были у местных девчат: «Смотри подцепишь заразу!» Я о таких вещах слыхом не слышал, стал побаиваться.

Как-то сажу в конторе, костяшками счётов пощёлкивая, входит она, моя красавица. Не поздоровавшись, встала у двери.

– Салям, – говорю, – проходи, садись.

Не садится на указанный стул, только смотрит из-под подковок бровей своими угольками глаз. Постояла так и ушла. Дня через два опять появилась.

Только и произнесла:

– Вернись.

И тут же исчезла.

Потом пришла за мной хозяйка квартиры.

Вернулся. Почему бы и нет? У хозяйки хорошо, сытно. Недоумевал лишь: что с её дочерью случилось? Смотрит на меня совсем не злобно, не произносит своё проклятие: чтобы кровь моя высохла во мне. Помалкивает.

– Поняла, дошло до неё, – говорит хозяйка. Кормит меня, как и прежде. Порой, когда ем, по спине поглаживает. – Ох, где только моё дитя ходит, мой солдатик, мой единственный?

Дочь её сидит за столом, отвернувшись в сторону. Она на глазах измени-

лась. Ходит причёсывается, косы заплетает. На её бесформенном теле и талия вроде проявилась. Казалось мне раньше, на её подростковой фигурке и грудей совсем нет, а тут они как-то выступили бугорками. Раньше скользил по ней безразличным взглядом, а тут стал заглядываться.

И мать заметила изменения в своей дочери. Заметила и то, что я стал заглядываться на неё. Принялась нахваливать меня своей дочери, а мне – свою дочь.

Настало время, и мы стали как-то стесняться друг дружку. Такое вот состояние: кто тебе нравится, того и стесняться начинаешь. Начала нравиться она мне. Даже широкое, как скворода, лицо стало казаться красивой, полною луною.

В таких случаях развязка начинается со слова «люблю» или с крепкого поцелуя в каком-нибудь укромном местечке. Молодость к тому же нетерпелива, она торопится, суетится. А у меня и опыта ухаживания за девушками не хватало. Приходилось, конечно, обниматься, целоваться, но я этим избалован не был.

Наша развязка началась с того, что у меня заболели ноги. Простудил, когда ехал на целину. Как-то не так я ходил, и это заметил сосед, где я квартировался, – Уразбай-агай (единственное имя, которое я запомнил). Ощупав и помяв мои колени, он велел мне приехать на недельку к нему на летнее пастбище. Он пас лошадей километрах в десяти от деревни. Уезжал в начале лета со своей старухой туда и возвращался лишь глубокой осенью.

Каждый казах имеет по крайней мере пару лошадей. Мне кажется, у моей хозяйки их было три. Запрягли одного коня, и дочь хозяйки повезла меня на пастбище.

Не знаю, как в других местах, но в степи Казахстана для объяснения в любви – раздолье. Ровная, бескрайняя земля, степь зелёная, среди тучных трав разматывается еле заметная лошадиная дорожка. Над головами в си-

нем, бездонном небе жаворонки поют. На телегу кинута душистой подстилкой сочная трава. Дороге нет конца. Разве может быть более благоприятное место для объяснения в любви?!

Сейчас уж и не помню, как начал разговор, но когда доезжали до пастбища, юная казашка была уже в моих объятиях. Точнее, я лежал, положив голову на её колени, и смотрел снизу вверх то на неё, то в небесную синеву. Как бы там ни было, то, что надо было сказать, было сказано, то, что надо было выяснить, было выяснено.

Пообещав вернуться через неделю, она оставила меня у Уразбая-ага и уехала.

За неделю он вылечил-таки меня. Опишу его метод лечения. Может, кому и пригодится. Три раза в день он заставлял меня пить кумыс. Интересное дело, как попьёшь его, суставы ноют ещё сильнее.

– Жаксы-жаксы (хорошо-хорошо), – говорил он, похлопывая меня по спине (видать, такая форма доброго отношения к человеку у казахов). А днём я сидел под палящим степным солнцем, поставив ноги в кадку с глиной, перемешанной с лошадиным навозом. Разогретая под солнцем кашка основательно калила ноги. Каждый день сидел я так по два часа. Всю неделю. И, слава Аллаху, до сегодняшнего дня не знаю, что такое боли в ногах.

Пока расстался с казахской девушкой на неделю, расскажу заодно ещё вот что. Казахи деревни Каенлыкюль меня уважали. На то причина есть. В совхозы, организованные на целине, доставлялось немало товара. Большею частью продовольствия. А у нас было предписание: дефицитные товары местному населению не продавать, только работникам совхоза. Несмотря на то, что работникам совхоза было мало, а завозимого товара много, Панченко не разрешал продавать его казахам. Особенно сахар и муку. Казахи пробовали шуметь, но бесполезно.

Когда Панченко уезжал в районный центр, за него руководителем рабкоо-

па оставался я. И разрешал продавать товар всем. Поэтому среди казахов авторитет мой был весом, и я ходил как «нугайдын жаксы баласы» («хороший человек нугая»).

Прошла неделя, и казашка моя (хочется назвать её по имени, но никак не вспомню) приехала за мной. Красиво одета. Остался в памяти лишь красный её камзол поверх лёгкого платья.

Всю дорогу пели. Она пела, как и мать, протяжно и душевно. Я тоже завывал свои песни, которые помнил. Тысячу раз спасибо ей за то, что внимательно слушала. До неё ещё ни одна девушка не могла сдержать усмешки при моём пении. Я давно уже стараюсь не петь, что поделать, если не получается.

Любовь наша была короткой. Обниматься обнимались, но поцеловаться не успели – уехал я. Надо было учиться.

Перед целиной я поступал в Казанский университет, но не получилось. Опять вспомнился он, университет белоколонный, вот и уехал. Но пока сдавал дела, пока был в дороге, прошло порядочное время и к сдаче экзаменов не успел. Это был 1955 год.

А казашка? Она осталась.

Когда расставались, слёз не было.

– Не уезжай, – лишь произнесла она и замолчала, замкнулась в себе. А мать её плакала. Быть может, она хотела видеть меня своим зятем. Был ведь я молод, ладен собою, вроде бы, и вдобавок «большой начальник». Где ещё найдёшь такого жениха своей дочери?

Ладно, что было, то было. Осталось с того времени лишь светлое воспоминание. Жалею только, что имена стёрлись из памяти. Поэтому у милой казашки, у её богатой душой матери прошу прощения.

*Перевод с татарского
А. Мушинского, А. Сафиуллина*